

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. Г. Короленко

ДЕТИ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ



Школьная библиотека (Детская литература)

Владимир Короленко

Дети подземелья (сборник)

Издательство «Детская литература»

2002

Короленко В. Г.

Дети подземелья (сборник) / В. Г. Короленко — Издательство «Детская литература», 2002 — (Школьная библиотека (Детская литература))

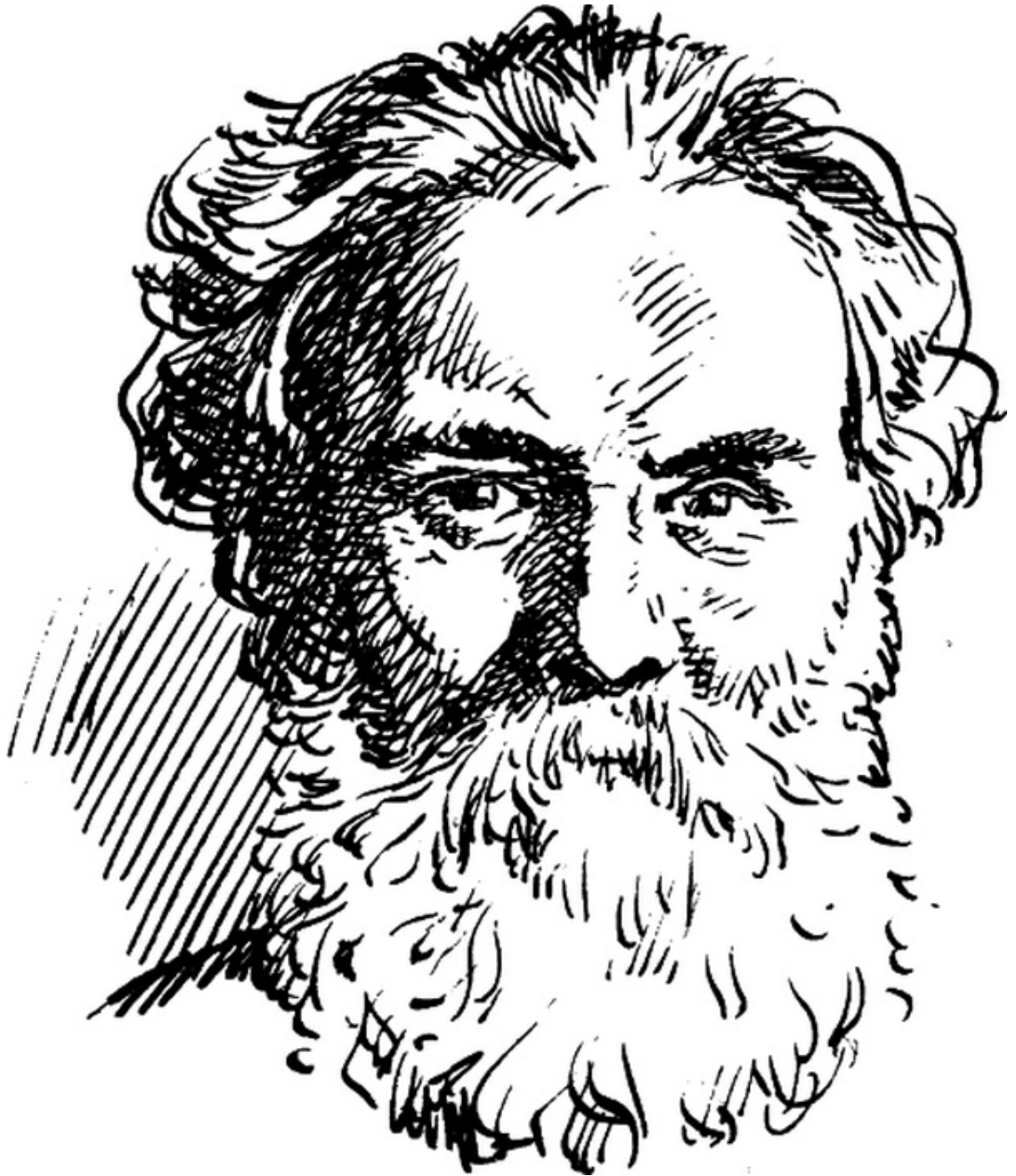
В книгу вошли известные произведения замечательного русского писателя В. Г. Короленко: повести «Дети подземелья» и «Слепой музыкант», рассказы «Сон Макара», «Река играет», очерки «Чудная» и «Мгновение».

© Короленко В. Г., 2002
© Издательство «Детская
литература», 2002

Содержание

Чистое зеркало	7
Дети подземелья	12
Слепой музыкант	54
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Владимир Галактионович Короленко
Дети подземелья
Повести, рассказы и очерки



A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "В. Г. Короленко". The script is cursive and fluid, with the first letters being significantly larger and more decorative than the rest of the text.

1853–1921

Чистое зеркало (Писатель В. Г. Короленко)

Литературный путь Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) поровну разделен между двумя столетиями. Двадцать один год своей жизни в культуре он отдал девятнадцатому веку и ровно столько же – двадцатому.

Детство его прошло в Малороссии – сначала в Житомире, а затем в Ровно. Здесь встретились и пересеклись три культуры, три национальные традиции – русская, польская и украинская. Все они оказались для Короленко родными: мать его была полькой, отец – предельно честный и уважаемый всеми судья – украинцем. А родным языком писателя стал русский.

Украина с ее природной мягкостью, спокойствием, уравновешенностью в эти годы лишилась состояния блаженного южного покоя. В воздухе носилось ожидание поворотных для истории событий: готовилась крестьянская реформа (1861), и люди это чувствовали. Тревожное ощущение не могло не передаваться и детям. Так История вошла в жизнь Короленко, вошла просто и естественно – через споры между отцом и матерью о неизбежных переменах, через рассказы отца о судебных разбирательствах, в которых ему пришлось участвовать...

Студенческие годы, проведенные будущим прозаиком сначала в Петербурге, в Технологическом институте, а затем в Москве, в Петровской земледельческой и лесной академии, пришлось на самый подъем, всплеск освободительного движения. Короленко не остался в стороне от общего дела. Его революционная деятельность фактически началась с событий, разыгравшихся в 1876 году в Петровской академии. Суть их состояла в следующем. В канцелярии были арестованы студенты, не имеющие прописки. Возмущение сокурсников оказалось стихийным и потому безрезультатным. Тогда Короленко вместе с одним из товарищей подал ректору письмо, где назвал контору академии «отделением московского жандармского управления». Это был вызов. Для устрашения большинства требовались «показательные» жертвы. Короленко и его товарищу было предложено: или не показываться в академии, пока все не утихнет, или подвергнуться незамедлительному аресту.

Они предпочли второе.

Задолго до Короленко в подобной ситуации оказался студент Главного педагогического института в Петербурге, будущий великий критик Николай Добролюбов. Никто из студентов не решался подать жалобу на ужасное питание, и лишь он один осмелился сделать это. Его тоже ждала неприятная беседа с товарищем министра, грозило исключение из института, пожизненное звание младшего учителя, работа в провинциальной глуши... Что же толкало их, этих совсем еще молодых людей, на безрассудные – с обывательской точки зрения – поступки? Неопытность? Юная горячность? Нет. Это было рано проснувшееся чувство ответственности за все, творящееся в мире. Они восприняли от родной литературы нравственную боль за «маленького человека», обостренную совесть, жажду справедливости.

Именно совесть заставила молодого Короленко предпочесть бесконечные ссылки – бесчестью, соглашательству, молчаливой покорности.

Позже, когда он стал уже известным прозаиком и публицистом, ему довелось писать очерки о самых главных и порою самых драматических событиях новейшей российской истории: об усмирении крестьянских волнений («Успокоенная деревня», 1911), о всеобщей октябрьской стачке 1905 года («Что у нас было и должно быть», 1905). Между прочим, он был единственным, кто сумел обойти цензуру и откликнуться в печати на трагедию Кровавого воскресенья (очерк «9 января 1905 года»).

В освещении любых событий писатель хранил верность путеводной идее, главным принципам своей жизни.

Такими принципами у Короленко были честность, справедливость, человеколюбие.

Тот, кто чуть позже прочтет главную книгу его жизни, над которой он работал до последних дней, – четырехтомную автобиографическую «Историю моего современника», – легко убедится в этом. Именно обостренное чувство справедливости заставило гимназиста Володю Короленко выкрасть у соседа, пана Уляницкого, его маленького слугу – мальчика Мемрика, которого хозяин нещадно сек розгами, затем спрятать его и не отдавать до тех пор, пока родители не получат от Уляницкого обещания обходиться со слугой по-человечески.

И то же чувство через десятилетия, когда имя Короленко было окружено всеобщим уважением, побудило его отказаться – вместе с Антоном Павловичем Чеховым – от звания почетного академика, потому что правительство запретило избрать в Академию «неблагонадежного» литератора Максима Горького. Масштаб двух этих поступков несопоставим, но они *одинаково* важны для понимания цельной и чистой натуры Короленко.

Неизвестно, нашел бы он свою «путеводную идею» или нет, не будь в детстве перед его глазами примера отца. Не секрет, что провинциальные судьи, при наличии некоторой доли бессовестности, могли жить припеваючи. Не задумываясь, кто прав, кто виноват, а встречай прежде всего по одежке, заглядывая не в глаза, а в кошелек просителя... Но Галактион Короленко предпочел благородную бедность – неправедному богатству и честное имя – хлебосольным подношениям. Порою, возвратясь из суда, он, прихрамывая, ходил взад-вперед по комнате, а на расспросы домашних обижался и сердито отвечал своим любимым присловьем: «Толкуй больной с подлекарем!» Это означало, что очередное судебное разбирательство завершилось не по совести, не по закону, который он боготворил, а по прихоти начальства или властью золота.

Жизнь отца была на виду, как на ладони. И наверное, никакими нотациями и наказаниями житомирский (а затем – ровенский) судья не смог бы столь крепко привить своему сыну представления о чести и бесчестии, о том, как должно человеку распорядиться отпущенной ему жизнью.

Стоит ли удивляться, что Владимир Короленко распорядился своей жизнью более чем достойно. Что за ним, по выражению М. Горького, закрепилась слава «честнейшего русского писателя».

Он неизменно оставался верен себе. И когда через три года после первой высылки – в Кронштадт – его опять сослали в г. Глазов Вятской губернии; и когда по ложному обвинению в побеге заточили в Вышневолоцкую политическую тюрьму; и когда перевели в Пермь; и когда за отказ присягнуть на верность императору Александру III отправили в 1881 году на «край света» – в ледяную, оторванную от тогдашнего цивилизованного мира Якутию, и когда, по возвращении в Петербург в 1885 году, незаконно задерживали в доме предварительного заключения...

Именно тут завершил Короленко начатую еще в Якутии и впервые увидевшую свет в журнале «Русская мысль» (1885, № 10,) повесть «В дурном обществе» – так называется произведение, которое в сокращенном для детей варианте публикуется под заглавием «Дети подземелья».

Повесть создавалась в условиях, вовсе не подходящих для литературного творчества. Тем оправданнее обращение писателя к самой важной, «болеевой» проблеме его жизни – вопросу о противоречии между юридическими установлениями царской России и внутренней тягой человека к справедливости, братскому единению. Когда тебя окружают люди, находящиеся – по самым разным причинам – в сложных отношениях с законодательством, естественнее всего задуматься именно об этом. И еще естественнее – вспомнить принципы своего отца, судьи, свято верившего в незыблемость существующих правовых норм и со свойственной ему рыцарской совестливостью отстаивавшего эту веру на практике. Внимательный читатель без труда узнает черты Короленко-старшего в образе судьи, отца главного героя – Васи. Та же суро-

вость, та же кристальная честность, неподкупность. Даже представители «дурного общества» отзываются о нем, хранителе закона, а стало быть их враге, более чем уважительно: «Судья – самый лучший человек в городе... он засудил даже одного графа... а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул». Почти то же самое говорили и житомирцы о своем судье-«законнике». (Сам писатель признавался: сюжет повести вымышлен, «но многие черты взяты с натуры, и, между прочим, само место действия описано совершенно точно с города, где мне пришлось оканчивать курс».)

Такая преданность закону вызывает почтение. Но ведь не случайно Короленко построил свою повесть так, что каждый из ее героев должен для себя сделать выбор, принять единственно верное решение.

Вася, только что потерявший мать, не интересующий отца, предоставленный самому себе, знакомится с обитателями старой часовни, с нищими детьми – Валеком и Марусей. Если он, сын судьи, не скажет дома, где пропадает целыми днями, он солжет. А если скажет, значит, предаст друзей. Если Валек, в свою очередь, украдет у торговца хлеб для маленькой сестры, он совершит преступление. А если не украдет, тогда Маруся будет голодать. Если Вася и его сестра Соня не отдадут тайком от взрослых куклу заболевшей Марусе, то девочке станет еще хуже. И – так далее...

Казалось бы, закон судит невзирая на лица. Когда закон не на стороне богатого графа, это хорошо. Но когда он судит Валека, Марусю, Васю, Соню, все оказывается гораздо сложнее.

Да, закон возвышается надо всеми героями повести, как каменная плита с начертанными на ней непреклонными и вечными истинами. Но вспомним: именно серый, неподвижный камень «высосал» из Маруси жизнь, погубил ее. И потому пан Тыбурций, «предводитель» «дурного общества», говорит Васе: «Лучше иметь в груди человеческое сердце вместо холодного камня». У него самого – именно такое сердце. Зная, что Васе грозит наказание за куклу, за вынужденное вранье, он приносит ее после Марусиной смерти прямо в дом судьи. И это при том, что ему грозит тюрьма!

Человек прежде всего человек, подсказывает писатель, а уж потом судья, «предводитель», слуга или нянька. «Я не судья. Я Вася», – по-своему, по-детски, выражает эту гуманную мысль главный герой. Но и его отец, который «вовсе судья», тоже в конце концов преступает букву почитаемого им закона, чтобы не совершить бесчеловечный поступок. Он отпускает пана Тыбурция на все четыре стороны и даже предупреждает о грозящей его друзьям опасности. И как раз в этот самый момент в сердце его наконец-то просыпается любовь к сыну. Не холодная, каменная неприступность закона, а тепло человеческого участия – вот что поможет людям справиться с их бедами, как бы говорит нам Короленко.

Это особенно важно для его героя, Васи, потому, что он живет в мире, где люди научились быть *просто* людьми. Судья – представитель власти; Януш – представитель «благородных» нищих; Тыбурций – представитель «отбросов», «дурного общества». Они живут и даже не чувствуют всей дикости такого положения. Но вот случилась беда – умерла Маруся. Что значат перед горечью этой утраты все звания, все «распределение» по прослойкам общества? Ничего не значат! Это так просто понять, но так трудно сделать практическим основанием человеческой жизни...

Не случайно так много внимания уделил писатель чувствам своих героев, их переживаниям, страданиям, бедам. Чего стоит описание мук маленькой Маруси – когда она не может бегать или когда она плачет при разлуке с куклой! А Васино одиночество? А Сонино объяснение с нянькой? В наших читательских сердцах тоже пробуждаются сочувствие, сострадание. Мы словно отвечаем на порыв писателя, который верил в силу человеческого участия, в силу справедливости почти так же непреклонно, как его отец, судья, верил в силу законности.

Так переплетаются в повести две художественные линии. С одной стороны, повествование направлено в глубь очень противоречивой, почти безнадежно увязшей в своих пробле-

мах реальности. Для рассказа о ней необходим предельно аналитический, ясный и строгий стиль. С другой – оно устремлено в глубь человеческой души, полной счастливых и непредсказуемых возможностей и «поддающейся» лишь очень взволнованному, лиричному и романтически приподнятому описанию. Потому не станем удивляться, встречая рядом столь несхожие по своему эмоциональному настрою и стилистическому облику фразы: «Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы... еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом». В художественном мире Короленко естественно соединяются очень точная, реалистическая подробность – провалившаяся от ветхости крыша – с чем-то таинственным – с «синим зловещим светом».

Спустя ровно год после выхода в свет повести «В дурном обществе», в 1886 году, газета «Русские ведомости» начала публикацию нового этюда В. Г. Короленко – «Слепой музыкант». Публикация была неожиданностью не только для читателей, но и для самого автора. Он отдал газете начало не написанной еще вещи просто для ознакомления, а в результате пришлось завершать повесть в страшной спешке. Это было очень трудно, однако затраты сил окупились сторицей: номера газет были нарасхват, а журнал «Русская мысль», не дожидаясь завершения публикации в газете, начал перепечатывать повесть. В дальнейшем писатель не раз дорабатывал ее текст: при жизни автора «Слепой музыкант» выдержал пятнадцать изданий.

Здесь тоже в основу повествования легли реальные впечатления. В письме от 9 ноября 1894 года Короленко рассказал о них: «Еще мальчиком я познакомился впервые с слепой девушкой... Эпизод с падучей звездой вечером... приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке... Наконец, слепой звонарь в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света». Об этой «потребности света» и написан «Слепой музыкант».

Слепой мальчик родился в богатой семье, живет в небольшом поместье. Здесь легко запомнить каждый предмет, каждый изгиб дороги, каждое препятствие на пути, чтобы почти не чувствовать свою слепоту. А какие замечательные люди его окружают! Нежная, печально-ласковая мать, кучер Иохим, который учит мальчика украинским мелодиям, дядя Максим, души не чающий в племяннике... Стоит Петрусью познакомиться с соседской девочкой Эвелиной, как сразу завязывается сердечная дружба, а потом, когда они вырастают, к ним приходит любовь.

Ничего тревожного, тяжелого, смутного. Все светло, легко, отрадно. То ли было в «Детях подземелья»? Там лучшее архитектурное украшение города — *тюрьма*, там все люди делятся на богатых и бедных, там даже нищие «подразделяются» на «благородных» и «отбросы», «дурное общество». А в «Слепому музыканте» ясное синее небо, кажется, никогда не омрачается. Но все гуще и глубже его синева. Так бывает в природе перед самой грозой. И она разразится. Правда, чуть позже.

А пока... пока в душе Петруся просыпается любовь к музыке. Он *не видит* мир, который его окружает. Зато он прекрасно *слышит* его и с помощью звука даже может понять строение крыла птицы. Музыка для него – во всем. В ясной малороссийской природе, в свистулке, которую мастерит Иохим, в перезвоне колоколов, в голосе Эвелины он слышит *музыку самой жизни*. Потому так долго отдавал юный музыкант предпочтение не купленному матерью венскому роялю, а сделанной из «куска украинской вербы» дудке кучера. Ведь у этой дудки есть одно чудесное преимущество: она росла поблизости, она вобрала в себя звуки, которые слышал мальчик, и впитала солнце, которое согревало его.

В повести все пронизано музыкой. Прислушайтесь, как напевна, как музыкальна речь самого писателя: «А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в

синем небе и разливалась по земле синею тьмой...» Фраза движется наплывами, у нее есть свой неповторимый мелодический строй. Да и сравнения Короленко находит не какие-нибудь, а именно звуковые, музыкальные: «Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом...»

Так, может быть, *только* музыка способна вернуть Петрусью счастье полнокровной жизни?

Нет.

Когда семейство Попельских направляется в монастырь, они останавливаются у могильной плиты, и Петрусью своими чуткими пальцами разбирает надпись, которую не смогли прочесть глаза зрячих людей. Так все узнают о слепом бандуристе. Во времена Запорожской Сечи он сопровождал атамана в его походах, жил общими со всеми запорожцами несчастьями и удачами – *наравне* с другими людьми. А потом семейство встречается со слепым звонарем, который тоже очень любит музыку, души не чаёт в своих колокольцах. Он так же страдает и, казалось бы, заслуживает всяческого сочувствия. А вызывает неприязнь: слишком он озлоблен на мир, нет в его сердце любви к людям. Звонарь с ненавистью гонит детей с колокольни, прокликает их.

Вот две дороги, на распутье которых оказывается повзрослевший Петрусью! Вот та гроза, которая наконец-то разлилась в его душе! Или он, как древний бандурист, «несправедливо обиженный судьбою, подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью», или отъединится ото всех, как звонарь, замкнется в своей беде.

Дядя Максим для того и отправил Петрусью в странствие в Почаев вместе со слепцами-нищими, чтобы, столкнувшись с тяготами настоящей жизни, музыкант открыл в себе еще один – главный – дар: сочувствия, сострадания, чтобы услышал *музыку человеческого сердца*, как слышали ее нежно любящие Петрусью Эвелина, мать, дядя...

Страшна не слепота глаз – страшна слепота души. Музыкант, победивший ее, наконец-то сумел запомнить отрывок сна, который снится ему с детства и который с детства ускользает от сознания. Как воскликнул дядя Максим: «Он прозрел, да, это правда, – он прозрел!» – хотя глаза Петрусью по-прежнему ничего не видят. Боль других людей отозвалась в его сердце. Величественнее *этой* музыки ничего нет на свете.

... Есть такое выражение: «литература – зеркало жизни». В. Г. Короленко считал, что это зеркало «должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые».

«Явления внешнего мира» в его книгах потому не тусклы, что «равно, прозрачно и чисто» зеркало его собственной жизни.

И сейчас, когда после создания самых известных его произведений – «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» прошло более века, – мы вновь обращаемся к ним, то не только сопереживаем их героям, но и общаемся с самим автором, разговариваем с ним о главном: о справедливости, честности, человеколюбии и чистоте.

Александр Архангельский

Дети подземелья
(Из повести «В дурном обществе»)





1. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-Западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой»¹. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов»²; казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», – передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, – так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетевшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

¹ *Застава* – заграждение при въезде в город. Устраивалась вначале для защиты от врагов, затем – для сбора денег с проезжающих.

² *Заезжие* (или постоялые) *дома* (или двory) – дома для проезжих, гостиницы.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под горами старого мусора. «Живет в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались – вообще как-то поддерживали свое существование.



Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось – уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь

водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках»³, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры⁴ и салопы⁵. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищества. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов⁶ и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панна Богоматери»⁷.

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках.

И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелую старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное – я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

³ *Чамарка* (*чамара*) – городская национальная одежда из сукна типа сюртука, в талию, длиной выше колен, однобортная, с рядом мелких пуговиц и шнуровых петель от ворота до низу, с низким стоячим воротником; широко распространенная в середине XIX века у поляков.

⁴ *Капор* – женский головной убор, завязывающийся впереди лентами.

⁵ *Салоп* – широкое женское пальто.

⁶ *Костёл* – католический храм.

⁷ *Пан, панна* – форма вежливого обращения в польском языке.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры несколько не походили на аристократических нищих из замка, – город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговцев, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому как насадки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая пронизательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужицки. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базар-

ные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона⁸, целых глав из Ксенофонта⁹. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то вложить свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И, когда, ударяя себя и грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «*Patres conscripti*»¹⁰, – они тоже хмурились и говорили друг другу:

– Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки¹¹ слушатели опускали головы, свешивали длинные «чуприны»¹² и начинали всхлипывать:

– О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! – И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

И, когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

⁸ *Цицерон* – знаменитый древнеримский государственный деятель, славившийся красноречием. Речи его считались образцом ораторского искусства.

⁹ *Ксенофонт* – древнегреческий историк и полководец.

¹⁰ *Отцы сенаторы* (лат.).

¹¹ *Горилка* – водка (укр.).

¹² *Чуприна* (чуб) – длинный клочок волос на темени.



Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов¹³, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось,

¹³ *Иезуиты* – монахи ордена (общества) Иисуса в католической церкви.

однако, что, в то время как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась – никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

2. Я и мой отец

– Плохо, молодой человек, плохо! – говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция.

И старик качал при этом своею седою бородой.

– Плохо, молодой человек, – вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полужакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лотки¹⁴ и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца.

¹⁴ Лоток – здесь: лопасть мельничного колеса.

Капли росы падали с верхушек трясунок¹⁵, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы – ребенок и суровый мужчина – о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

– Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти.

И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую, милую ласку.

Да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадой и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я – дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен*, но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним: я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинувшись неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

– Что нужно?

¹⁵ Трясуника – многолетнее злаковое растение с раскидистой метелкой сплюснутых колосков.



Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чашу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовь; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и

между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне включенную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню – с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню своими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком приветов и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаюсь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких¹⁶ могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидел много такого, что не видели дети значительно старше меня.

Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдаль, на горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но, по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшенно, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада.

3. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом – скалил зубы человеческий череп.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни.

Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая, свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти.

¹⁶ *Гайдамацкий; гайдамак* – украинский казак-повстанец, участник крестьянского восстания против польских помещиков в XVIII веке.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

– Нет никого, – сказал один из моих спутников.

– Солнце заходит, – заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна – высоко над землей; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

– Не надо! – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

– Пошел ко всем чертям, баба! – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

– Ну, что же там? – спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры¹⁷, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

– Что там такое? – с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом¹⁸.

– Поповская шапка.

– Нет, ведро.

– Зачем же тут ведро?

– Может быть, в нем когда-то были угли для кадила¹⁹.

– Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

– Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

– Ну что ж! Думаешь, не полезу?

– И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со

¹⁷ Хоры – балкон для певчих.

¹⁸ Престол – стол в алтаре, в главной части церкви.

¹⁹ Кадило – сосуд, в котором во время православного и католического богослужения сжигается специальное ароматическое вещество (ладан).

стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой, в терновом венце²⁰. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие²¹.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

– Ты подойдешь? – спросил он тихо.

– Подойду, – ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в полете и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

– Подымай! – крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

– Не бойся, не бойся! – успокаивал он, приготавливаясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом.

Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

²⁰ *Терновый венец* – венок из ветвей терновника, колючего кустарника. Символ мученичества, страдания (по евангельскому сказанию о терновом венке, надетом на Иисуса Христа римскими воинами перед его казнью).

²¹ *Распятие* – крест с изображением на нем распятого Иисуса Христа.



Трудно передать свои ощущения в эту минуту; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он.

Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот:

– Почему же он не лезет себе назад?

– Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

– Что ж он теперь будет делать? – послышался опять шепот.

– А вот погоди, – ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

– Ты здесь зачем?

– Так, – ответил я. – Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

– Я вот тебе покажу! – погрозил он.

Я выпятился грудью вперед:

– Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое: от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

– Я, брат, и сам... тоже... – сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

– Как твое имя? – спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

– Вася. А ты кто такой?

– Я Валеку... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

– Да, это правда, яблоки у нас хорошие... Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

– Боится, – сказал тот и сам передал яблоко девочке.

– Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? – спросил он затем.

– Что ж, приходи! Я буду рад, – ответил я радушно.

Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

– Я тебе не компания, – сказал он грустно.

– Отчего же? – спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

– Твой отец – пан судья.

– Ну так что же? – изумился я чистосердечно. – Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом.

Валек покачал головой.

– Тыбурций не пустит, – сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: – Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

– Как же мне отсюда выйти?

– Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

– А она? – ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

– Маруся? Она тоже пойдет с нами.

– Как, в окно?

Валек задумался.

– Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.



Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом²², разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

²² Червонное золото – чистое золото, имеющее красноватый оттенок.

– Как хорошо! – сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.

– Скучно здесь... – с грустью произнес Валек.

– Вы все здесь живете? – спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

– Здесь.

– Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

– Ты придешь к нам опять?

– Приду, – ответил я, – непременно!..

– Что ж, – сказал в раздумье Валек, – приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

– Кто это «ваши»?

– Да наши... все: Тыбурций, «профессор»... хотя тот, пожалуй, не помешает.

– Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

– Эй, послушай-ка! – крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. – А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

– Никому не скажу, – ответил я твердо.

– Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

– Ладно, скажу.

– Ну, прощай!

– Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжым-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

– Вася, друг, – заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. – Как же это ты?... Голубчик!..

– А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

– Что же там было?

– Что! – ответил я тоном, не допускавшим сомнения. – Разумеется, черти... А вы – трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

4. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью – высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И, если Тыбурций разглагольствовал перед сво-

ими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого, – говорили обо мне старшие, – руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

– Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой птички и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

– Вот видишь, – сказал Валек, – она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

– Отчего она такая? – спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

– Невеселая? – переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: – А это, видишь ли, от серого камня.

– Да-а, – повторила девочка, точно слабое эхо, – это от серого камня.

– От какого серого камня? – переспросил я, не понимая.

– Серый камень высосал из нее жизнь, – пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. – Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

– Да-а, – опять повторила тихим эхом девочка. – Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валека, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция – хотя я и не понимал их значения – заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?



Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», – думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

– Тыбурций тебе отец?

– Должно быть, отец, – ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

– Он тебя любит?

– Да, любит, – сказал он уже гораздо увереннее. – Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

– И меня любит, и тоже плачет, – прибавила Маруся с выражением детской гордости.

– А меня отец не любит, – сказал я грустно. – Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

– Неправда, неправда, – возразил Валеk, – ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе... Он засудил даже одного графа...

– Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

– Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

– Почему?

– Почему? – переспросил Валеk, несколько озадаченный. – Потому что граф – не простой человек... Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

– Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

– А судья что?

– А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

– Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой!

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валеk указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает», но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота шемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

5. Среди «серых камней»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головой по пыльной улице, Валеk вдруг положил мне на плечо руку.

– Отчего ты перестал к нам ходить? – спросил он.

– Я боялся... Ваших не видно в городе.

– А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

– А что?

– Я думал, тебе наскучило.

– Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, – заторопился я, – даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

– Ничего, ничего, – отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. – Ступай прямо на гору, а я тут найду кое-куда – дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, – только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

– Ага! – крикнул он, заметив меня. – Ты вот где... Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

– Где же это, далеко? – спросил я.

– А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землей. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подалее, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иглой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробежали облака, затеня солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ошущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный.

– Валека! – тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валека, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

– Уйдем... уйдем отсюда, – дернул я Валека. – Уведи ее...

– Пойдем, Маруся, наверх, – позвал Валека сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья. Валека был грустнее и молчаливее обыкновенного.

– Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? – спросил я у него.

– Купить? – усмехнулся Валека. – Откуда же у меня деньги?

– Так как же? Ты выпросил?

– Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?... Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа враспяжку с заложенными под голову руками.

Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

– Ты, значит, украл?...

– Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

– Воровать нехорошо, – проговорил я затем в грустном раздумье.

– Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

– Да, голодна! – с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидел их впервые. Валека по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. А при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заньло сердце.

– Почему же, – спросил я с усилием, – почему ты не сказал об этом мне?

– Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

– Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

– Как, потихоньку?

– Д-да.

– Значит, и ты бы тоже украл.

– Я... у своего отца.

– Это еще хуже! – с уверенностью сказал Валека. – Я никогда не ворую у своего отца.

– Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

– Ну, может быть, и дали бы один раз, – где же записаться на всех нищих?

– А вы разве... нищие? – спросил я упавшим голосом.

– Нищие! – угрюмо отрезал Валека.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

– Ты уж уходишь? – спросил Валека.

– Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

6. На сцену является пан Тыбурций

– Здравствуй! А уж я думал – ты не придешь более, – так встретил меня Валеку, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

– Нет, я... я всегда буду ходить к вам, – ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валеку заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

– Ну что? Где же ваши? – спросил я. – Все еще не вернулись?

– Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и, когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валеку и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекачивался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

– Давайте играть в жмурки, – предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроторенными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

– Это что еще, а? – строго спрашивал он, глядя на Валеку. – Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

– Пустите меня! – сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

– Отвечай! – грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, зажав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

– Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

– Пусти! – проговорил я упрямо. – Сейчас отпусти! – И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

– Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Я – Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Отчаянный вид Валека как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подспела Маруся.

– Не бойся, Вася, не бойся! – ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. – Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!



Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен.

– И как это ты сюда попал? – продолжал он допрашивать. – Давно ли?... Говори ты! – обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

– Давно, – ответил тот.

– А как давно?

– Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

– Ого, шесть дней! – заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. – Шесть дней – много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

– Никому.

– Правда?

– Никому, – подтвердил я.

– Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

– Я вовсе не судья. Я – Вася.

– Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, – не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я – Тыбурций, а он – Валека. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, – ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

– Не буду судить Валека, – возразил я угрюмо. – Неправда!

– Он не будет, – вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уroda, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

– Ну, этого ты вперед не говори, – сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. – Не говори, друг!.. Всякому свое, каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, – понимаешь?...

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

– Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, – что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем и с пустым брюхом... Впрочем, – заговорил он, резко изменив тон, – запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Дрaб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

– Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

– Приходи, разрешаю... под условием... Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

– Возьми вон там, – указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, – да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем Валек уже одним умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипело уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

– Готово? – сказал он. – Ну и отлично. Садись, малый, с нами – ты заработал свой обед... Господин учитель, – крикнул он затем, обращаясь к «профессору», – брось свою иголку, садись к столу!

– Сейчас, – сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинувшись, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивком головы и тихим мычанием.

– Вот как немного нужно человеку, – говорил Тыбурций. – Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского ксендза²³...

– Ага, ага! – поддакивал «профессор».

– Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский ксендз, – я ведь тебя знаю. А между тем не будь клеванского ксендза, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

– Это вам дал клеванский ксендз? – спросил я, вспомнив вдруг круглое, добродушное лицо клеванского ксендза, бывавшего у отца.

– У этого малого любознательный ум, – продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». – Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия...

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

– Вы это взяли... сами?

– Малый не лишен проницательности, – продолжал Тыбурций по-прежнему. – Жаль только, что он не видел ксендза: у него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнюю худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю?

– Ага, ага! – задумчиво промычал опять «профессор».

– Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Впрочем, – повернулся он вдруг ко мне, – ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

– Хорошо! – ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. – Маня была голодна.

²³ Ксендз – католический священник в Польше (пол.).

Под вечер этого дня я с отуманенной головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... Воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате – сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что «нехорошо воровать», осталось. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизовавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо:

– Откуда это?

– Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

«А, все равно. Ее уж нет!..»

Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить Валеку и Марусе – я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

7. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий юнкер²⁴ с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор», как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье.

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень – темное, молчаливое чудовище подзе-

²⁴ Юнкер – в царской России воспитанник военного училища.

мелья – продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен – я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.



На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья, но это продолжалось недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

– Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая, точно удары хлыста.

– Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?... Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

– У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена!

– Отец его прогнал, – заметил я в виде утешения.

– Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце; он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого, беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя – закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не возьмись ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» – с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении, под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, – думалось мне. – Но все же он меня не любит».

8. Кукла

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих

игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу большую превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа.

Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан – на этот раз с еще большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскинулись по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.



Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка

улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишиться моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

– Как же теперь будет? – спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

– Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

– Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

– Да, – ответил я тихо.

– А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?... Ты украл ее?

– Нет, – сказал я, подымая голову.

– Как нет? – вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. – Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?... Говори!



Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съежился.

– Ну, что же ты?... Говори! – И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

– Н-не скажу! – ответил я тихо.

– Нет, скажешь! – отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

– Не скажу, – прошептал я еще тише.

– Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову; слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

– Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам. Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Я знал, что он страшно вспыльчив. Что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась... Если так... пусть... тем лучше – да, тем лучше.

Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

– Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» – промелькнуло у меня в голове, но, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми, рысьими глазами.

– Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

– Пан судья! – заговорил он мягко. – Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

– Что это значит? – спросил он наконец.

– Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. – Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь – так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.

– Приходи к нам, – сказал он, – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

– Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

– Д-да, – ответил он задумчиво, – я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты поступаешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

– Ты отпустишь меня теперь на гору? – спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

– Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся, – ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. – Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

– Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его – понимаешь?... покорнейше прошу – взять эти деньги... от тебя... Ты понял?... Да еще скажи, – добавил отец, как будто колеблясь, – скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее...

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

– Покорнейше просит... отец... – И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче отделились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны.

Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

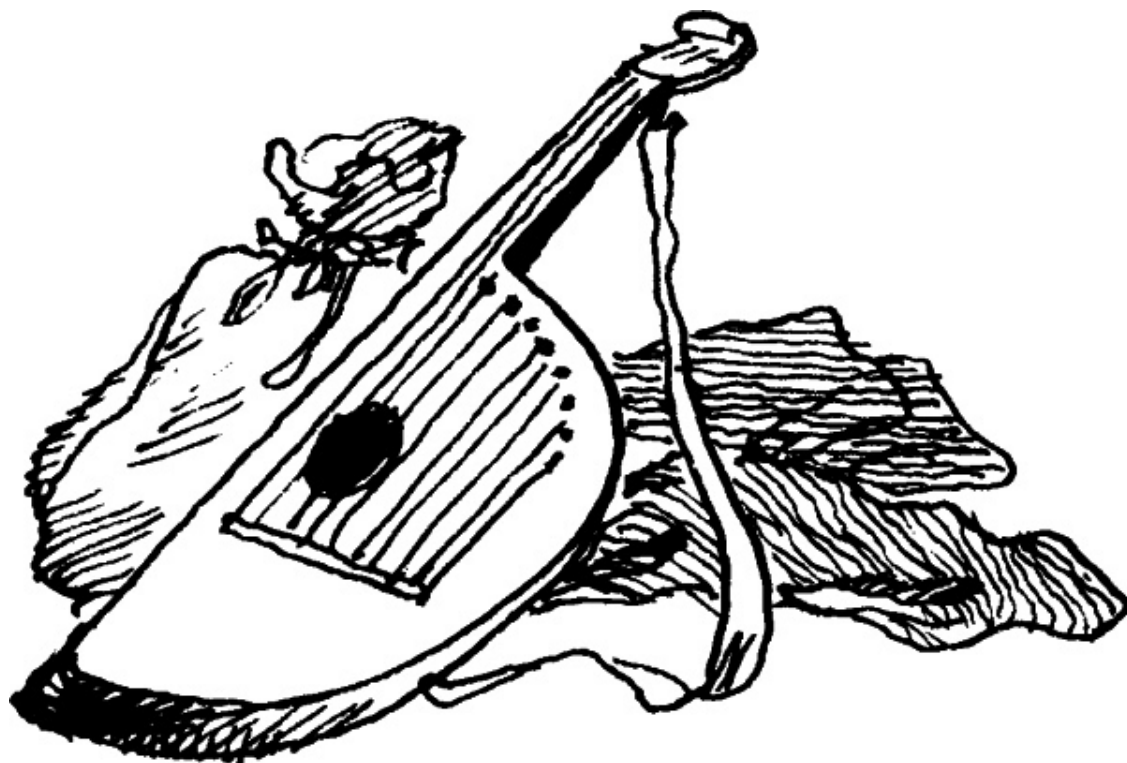
Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилой свои обеты.

Слепой музыкант

Этюд





От автора

К шестому изданию²⁵.

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу, как априорный²⁶, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах – все это я занес в свою записную книжку прямо с природы, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод, – по моему мнению, решающий в указанном вопросе, – лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как, – раз тронув прежнюю тему, – я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытии, но когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

– Отчего... отчего это он? – спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

– Отчего, отчего? – по-прежнему тихо шептали ее губы.

²⁵ В этом издании были сделаны значительные дополнения.

²⁶ *Априорный* – не основанный на опыте.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

– Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

– Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытии и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

– Скажите же мне, отчего он такой?

– Какой? – равнодушно переспрашивали посторонние. – Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

– Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

– Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями, – ответил доктор.

– Отчего же он смотрит все в одном направлении?... Он... он слеп? – вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп²⁷. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал с смущенным видом:

– К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

– Я знала давно, – сказала она тихо.

²⁷ Офтальмоско́п – зеркало для исследования глазного дна.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» – после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве «на Контрактах»²⁸. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смиренный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику Гарибальди²⁹, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую³⁰ душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамы перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях³¹ его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадей на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

– Плохо кончил Максим, – сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно без-

²⁸ "Контракты" – местное название некогда славной киевской ярмарки. (Примеч. авт.)

²⁹ Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – руководитель национально-освободительного движения в Италии.

³⁰ Схизматический – еретический, отступнический.

³¹ Реляция – письменное донесение о ходе военных действий.

божны. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, – все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неутомимая мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь – борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фушштат³²; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало дядю Максима.

– Гм... да, – задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, – этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастье? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастья скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастья лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение

³² *Фуриштат* – военный обоз (нем.).

заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

– Этот малый, – сказал он, пуская кольцо за кольцом, – будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

– Жестоко напоминать мне об этом, Макс, – сказала она тихо, – напоминать без цели...

– Я говорю только правду, – ответил Максим. – У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

– Отчего же?

– Пойми меня, Анна, – сказал Максим мягче. – Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устранившая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов: когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ров-

ное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, – изошренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и, вместе с тем, здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметную зелень молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врвалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

– Что это с ним? – спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

– Он... не может понять, – догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход ста-

новился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.